

### **ИЗ «ЗАПИСОК СТАРОГО ГЕРЦЕНОВЦА»**

Во второй половине сентября 1941 года снова пошли плохие сводки: 13 — оставлен Чернигов, 23 — Киев. Немцы надвигались в южном направлении. А у нас в Ленинграде была только одна мысль: во что бы то ни стало не допускать немцев в Ленинград.

Я пригласил 22 сентября Ольгу Берггольц для выступления перед бойцами. Вдруг завывли сирены, зенитки заполонили все небо. Грохнула бомба, зазвенели стекла. Нем-

цы бросили много зажигательных бомб в нашем саду. Наши стали их тушить, а мы стали спускать больных в бомбоубежище. Ольга Берггольц не растерялась. Она тоже спустилась в бомбоубежище и стала продолжать читать стихи. Когда я приглашал Ольгу Берггольц, она просила дать ей стакан чаю, после ее выступления, а я так растерялся, что совсем забыл о ней и ее просьбе. И очень переживал, когда мне сообщили, что она ждала меня и ушла. Когда через несколько дней я встретил ее в Доме писателей, то стеснялся поднять голову, она мне сказала: «Ничего! Всякое бывает!»

После тяжелого мотания с утра до вечера в госпитале, чтобы отвлечься хотя бы на час от того, что я видел в нем, часто вечером я ходил к нашим студентам, которые еще не уехали из Ленинграда. Многие из них были активистами самодеятельности и постоянными зрителями наших довоенных клубных мероприятий. Преимущественно институтский народ жил в подвале 6 корпуса. В отдельных уголках горели коптилки, еле-еле можно было узнать даже очень знакомых людей. Часть студентов жила в 8-м, бывшем рабфаковском общежитии 4 корпуса, в комнатах 25, 26, 28, 29, 30. Каждый раз, когда я приходил, я приносил интересные статьи из «Красной Звезды», «На страже Родины» или материалы Информбюро, чтобы девушки читали, особенно когда были хорошие сводки. Девушек очень обрадовало продвижение наших войск под Москвой 13 декабря 1941 года. Как обычно, спасаясь от холода, они лежали в постелях, видны были только глаза, долго в тишине ничего не говорили. Но иногда, несмотря на все, могли шутить и смеяться, когда читали интересные статьи из газеты «На страже Родины» или рассматривали карикатуры на фрицев. В этот вечер, когда я зашел, никто со мной не разговаривал, даже не поднял головы. Может, мой приход был неприятен им? Раньше мне этого не казалось. Я не мог понять, в чем дело. После долгого молчания Геля Воробьева мне сказала: «Я потеряла все карточки девушек, когда утром пошла за хлебом». Но страшнее всего было положение Кати: она заболела, температура 39–40. Если можно, надо ей помочь. Я не произнес ни слова и прямо пошел к Тюрину, бывшему заведующему столовой, который так чутко относился к студентам, убедительно просил, чтобы он сделал все, что возможно, за счет моего офицерского пайка, дал 100 граммов сахара, масла и 300 граммов хлеба. Тюрин это сделал. Через полчаса я все это отправил в 29 комнату 8 общежития с работником нашей библиотеки Прокофьевой Ниной. Нина мне потом сказала, что передала. Через два дня, когда я был снова в комнате, Катя уже умерла, девушки плакали, паек не помог.

3 апреля 1942 года. Комиссар целый день ходил по палатам, интересовался обслуживанием и лечением раненых, потом прошел в клуб. Между нами завязался разговор о культурно-массовой работе в госпитале. Начиналась первая блокадная весна, нужно было подумать о том, как в соответствии с этим перестроить клубную работу. «Раненым нужно больше быть на воздухе, — сказал комиссар, — многие культмассовые мероприятия хорошо было бы перенести во двор». Это была верная мысль. Оставалось решить, где устроить летнюю клубную площадку. Мы отправились осматривать территорию института. В главном саду делать что-то подобное было невозможно, так как он уже был превращен в госпитальный огород. И тут я вспомнил про заброшенный, захлащенный садик за 3 корпусом, который назывался «Мамкин». Пошли, осмотрели его и решили, что именно здесь и будет клубная площадка. До войны никому из институтских работников и в голову не приходило, что можно сделать что-либо полезное в «Мамкином саду», но времена меняются, война научила находить выходы из, казалось бы, безвыходного положения. У нас в госпитале лечился раненый художник, ему было дано задание распланировать сад: предусмотреть эстраду, фонтаны, стенды для сводок Информбюро и газет, освещение. В течение 10 дней работы были закончены, и впервые клуб госпиталя устроил концерт для раненых на свежем воздухе. Этот сад явился для

нас сущим спасением, так как в палатах становилось душно, жарко, а в саду ежедневно могло отдыхать около 500 раненых. Для выздоравливающих была устроена даже баскетбольная площадка. Когда в сад выносили тех, кто не мог вставать с постели, то ряды носилок напоминали, если взглянуть издали, шезлонги на сочинских пляжах. Целое лето на открытой эстраде нашего «Мамкиного сада» выступали артисты, самодеятельность госпиталя. Различным комиссиям, которые часто появлялись в госпитале, комиссар с гордостью показывал наш летний клуб, живший активной жизнью. Свежий воздух и солнце делали свое дело, раненые поправлялись значительно быстрее. В одном конце группа раненых читает сводки Информбюро, в другом слушает писательницу Голубеву, там играют в баскетбол, здесь просто сидят и отдыхают на солнце. Члены комиссии одобрительно кивали головой, говорили: «Да, у вас хорошо». Часто они давали и другим госпиталям устроить летние клубы по нашему типу. Сад притягивал к себе раненых, они не уходили оттуда даже тогда, когда над головой гудели моторы немецких самолетов, сад пустовал только во время артобстрела.

После двух часов дня больные, которые были в состоянии ходить, шли в клуб. Они знали, что по плану в эти часы ежедневно демонстрировали фильм. В этот день киномеханик Стрюков привез кинофильм «Александр Невский». После обеда все собрались в Колонном зале. Пришло в клуб свыше 200 человек, которые к вечеру должны были выписаться на фронт, было очень много раненых, которые приходили в зал на костылях. Когда начался киносеанс, зал был уже переполнен. Хотя это было время периодических тревог, на этот раз картина прошла спокойно. Когда кончился фильм, бойцы ушли, механик еще находился в кинобудке и перематывал ленту, а я был в своем кабинете, в артистической. Я вышел в фойе, вдруг дана тревога; много немецких самолетов прорвалось в Ленинград, и стали бомбить город. Хотя на куполе клуба был красный крест, обозначающий, что здесь госпиталь, немцы бросили одну большую фугасную бомбу. Одно я помню, что упал в фойе, настолько был сильный удар, потом поднялся шум, прибежали санитарки. Когда я поднялся и вошел в Колонный зал, кругом была пыль, стулья поломаны, ничего не было видно. Бомба пробила потолок, прошла через пол, но не разорвалась. Трудно сказать, сколько осталось бы в живых раненых, если бы кинофильм не окончился 10-ю минутами раньше. Через несколько часов саперная группа Ленинградского фронта разрядила бомбу и вынесла ее за пределы института. Не прошло и часа, как начались телефонные звонки. Звонили Тоня Емельянова и из институтского госпиталя, Катя Лобацкая, Ведерников и другие. Через несколько дней с фронта приехал товарищ Талашманов, он пришел просить у меня рекомендацию в партию и принес письмо Бердникова. Вот что писал Бердников:

*«Ленинград, Мойка, 48, Совет клуба.*

*Дорогие товарищи, то, что я сейчас узнал, заставило меня сжать кулаки: в наш институтский клуб угодил вражеский снаряд. Никогда не забуду наших певцов, танцоров, музыкантов. Я тоже был среди них. А помните успехи нашего хора, вечера встреч с писателями, артистами, лучшими людьми нашей страны? Какие замечательные девушки и ребята воспитывались в стенах нашего любимого герценовского клуба! Теперь варвары сделали его пустым, неудобным, холодным. Мне больно, будто снаряд пришиб меня самого. Тяжело за вас, знаю, как дорог для вас институт, как много сил вы отдали клубу. Но ничего не погибло, друзья! Было во мне мало злобы, ее стало больше со вчерашнего вечера, когда Козлов, приехавший из Ленинграда, сообщил мне о вас. А сегодня мы с ним пели песню, за которую я в клубе получил премию. Будем петь всю ночь назло фрицам...»*

Это было его последнее письмо, через 5 дней во время разведки боем Бердников героически погиб.

Этя Штык сегодня мне сказала: «Ты знаешь, Леню Хаустова принесли тяжелораненым. Лежит в 1 отделении». Даже не верилось, совсем недавно я его видел в Ленинграде. Когда он попал на фронт? Я спустился в 1 отделение. Зашел к политруку Ч. и говорю: «Ты знаешь, говорят, у вас лежит клубный поэт Хаустов?» Он ответил: «Да. Привезли ночью». Он прошел со мной в палату. Пред нами под белой простынею лежал Леня Хаустов. Он еле-еле узнал меня и тут же закрыл глаза. В этот период лежали в госпитале 7 герценовцев в разных палатах. Недалеко от кровати Хаустова лежал закончивший институт и аспирантуру талантливый молодой геолог Арзманян, а в городе в разных госпиталях (мы уже установили это через клубный актив) находилось 20 раненых герценовцев. Между ними велась переписка, были телефонные звонки. Мы всегда знали о герценовцах. Помню, зашел политрук 2-го отделения Михайлов. Он мне говорит: «Ты знаешь, в 21 палате лежит герценовец, он очень хочет, чтобы после обеда разрешили показать кинокартину». Я попросил Стрюкова помочь организовать это, если есть возможность. Не успел Стрюков установить узкокопленную передвижку, как начался обстрел. Один из снарядов попал во 2-е отделение 1-го корпуса, где был установлен киноаппарат. Стрюкова не было, он ушел за пленкой, снаряд разрушил две комнаты, начался пожар, все бросились вниз, где были жертвы. Чертовски обидно было за Михайлова, никак не везет ему. Вчера на посту на Мойке осколок снаряда вырвал руку медсестре 2-го отделения, а сегодня такой тяжелый удар в то же отделение. После восстановления здания и приведения его в порядок пришел Михайлов ко мне, и мы долго беседовали. «Мне страшно не хочется больше оставаться в госпитале, — начал он разговор. — Я был политруком боевой части, пришел сюда лечиться раненый. Вот уже четвертый месяц, как меня назначали политруком. Я не нахожу себе места. На фронте знаешь, что перед тобой враг. Они стреляют в тебя, ты в них, а здесь такое дурацкое положение: моральная ответственность за людей и полная беспомощность при внезапном обстреле. Они с надеждой смотрят на тебя, а ты... Ничем не можешь помочь». Я ему сказал: «Решай сам, тебе виднее». Я понял его состояние позже, когда после госпиталя оказался на фронте. Михайлов был прав.

Помню, как в конце 1942 года, когда я уже находился на передовой позиции, мне прислал кинорадиист Стрюков письмо, в котором говорилось о том, как была отмечена в институтском госпитале Сталинградская победа. После того, как радио передало известие о капитуляции окруженных советскими войсками отборных частей дивизий фельдмаршала Паулюса, местная трансляция сообщила по всем палатам госпиталя о торжественном заседании и вечере в госпитальном клубе в честь героического Сталинграда, у стен которого враг нашел свою гибель. Радиоклуб в годы Великой Отечественной войны живой человеческой речью выражал нерасторжимое единство жизни сотрудников госпиталя и раненых бойцов с жизнью нашей Родины.

Наступило воскресенье, 19 июля 1942 года. День был ясный и тихий. И казалось, сама природа отвечала тому настроению молодежи, с которой она спешила в парк Лесотехнической академии. Трамваи, грузовые машины, заполненные молодыми спортсменами, направлялись туда же. Задорный смех, веселые песни молодежи привлекали внимание прохожих. Их суровые лица освещала светлая улыбка: трудно было поверить, что в такое тяжелое время, в этот страшный год блокады Ленинграда они действительно слышали смех, радостные песни. Ленинградцы невольно вспоминали замечательные дни довоенного города, дни радостного и упорного труда, направленного на созидание. Прохожие одобрительно кивали, что-то кричали в ответ на приветливые возгласы молодежи. Молодежь прибывала в парк, чтобы показать свое спортивное мастерство и увидеть мастерство других. Здесь были бегуны и прыгуны, скакуны и велосипедисты, акробаты и легкоатлеты и многие, многие другие. Прибыл и оркестр. Это было настоящее торжество. Да, им было весело. Радовались за них и все ленинградцы.

Но каждый из них помнил, что идет война, что где-то совсем рядом наши бойцы оказывают яростное сопротивление. Появлялась гордость за советского человека, за нашу прекрасную молодежь. Враг хотел нас разгромить, морально убить. А мы ему говорили: «Нет, не выйдет. Не на тех напали. Вы думаете, что сломите нас. А ведь нас сломить нельзя. Нам трудно, но мы будем победителями». Так думали и молодые спортсмены, съехавшиеся сюда со всех концов осажденного города-героя. «Враг рядом, а мы, молодежь, съехались на праздник физкультуры и спорта». Из нашего госпиталя прибыли сюда 300 человек. Среди них медсестра Тося Шиленкова, механик института Стрюков и другие. Сколько фотокорреспондентов из раненых бойцов, медсестер и политруков прибыло сюда, чтобы запечатлеть навсегда этот радостный день тяжелой войны!

Однажды мне позвонил комиссар: «Ты знаешь, что Утесов в Ленинграде?» — «Нет». — «Ну, зайди ко мне». У комиссара — политрук Михайлов, раненый гвардии старший лейтенант Петров и два бойца. «Ну вот, товарищи пришли ко мне с жалобой: Утесов выступал в госпитале летчиков, собирается ехать в Кронштадт со своим джазом, к морякам. Необходимо организовать его выступление у нас». Я стою и не нахожу слов для ответа. Я знал начальника госпиталя летчиков и знал, что организация этого выступления — не его заслуга. Их госпиталь, расположенный на Исаакиевской площади в здании бывшего немецкого консульства, находился на особом учете в политуправлении. Я прошу комиссара позвонить в политотдел. Он отвечает: «Если бы можно было это сделать через политотдел, я бы тебя не вызывал». Тогда я предлагаю организовать делегацию от госпиталя. «Ну что ж, вот эти товарищи с тобой поедут». И мы едем в «Европейскую» гостиницу, где остановился Утесов. Поднявшись на второй этаж, мы встретили уполномоченного, который отказался наотрез пропустить нас к Утесову. Нас это не удовлетворило, и мы решили ждать, когда сможем увидеть Утесова. Уполномоченному ничего не оставалось делать, как, видя наше упорство, сообщить о нас Утесову. Леонид Осипович немедленно принял нас. В номере, куда мы вошли, находилась вся семья Утесова. Он радушно приветствовал нас. Когда он узнал о цели нашего визита, то пришел в смятение: «Товарищи, это физически невозможно, ведь я еду в Кронштадт». Мы настаивали. В это время затрещал телефон, звонили из Дома Красной Армии. Там тоже просили его выступить. Мы основательно приуныли, когда и им Утесов ответил отказом, но уговаривать его продолжали. Наконец Леонид Осипович спросил: «А госпиталь большой?» — «Большой», — ответили мы хором. — «Ну, тогда я сделаю невозможное и пришлю Вам своих оркестрантов». — «Что Вы, Леонид Осипович! — закричал гвардии лейтенант Петров. — Ведь джаз Утесова и без Утесова — это не то!» После часа уговоров Утесов все же обещал приехать. Потом оказалось, что он на один день задержался в Кронштадте. Весть об этом была немедленно передана по радио госпиталя. Оркестранты и солисты побывали во всех палатах и везде выступали для лежачих раненых. В 5 часов джаз под управлением Утесова выступил в Колонном зале. Что там творилось! Пришли солдаты, те, кто мог стоять на ногах. Очень многие раненые просили доставить их туда на носилках. Выступление оркестра прошло с огромным успехом. Об этом вечере раненые и персонал вспоминали целый месяц. Долго еще звонили нам из других госпиталей, спрашивали, как мы умудрились уговорить Утесова выступить в такое горячее время. Начальник над продовольствием Воронин пришел в такой восторг от концертов, что распорядился дать обслуживающему персоналу клуба дополнительно к пайку ведро каши. Это было для нас настоящим праздником: мы сидели в артистической, уплетали кашу, а профессор Диц-Зурабов после каждой ложки добрым словом вспоминал Утесова и искусство, трогающее сердце даже черствых снабженцев.